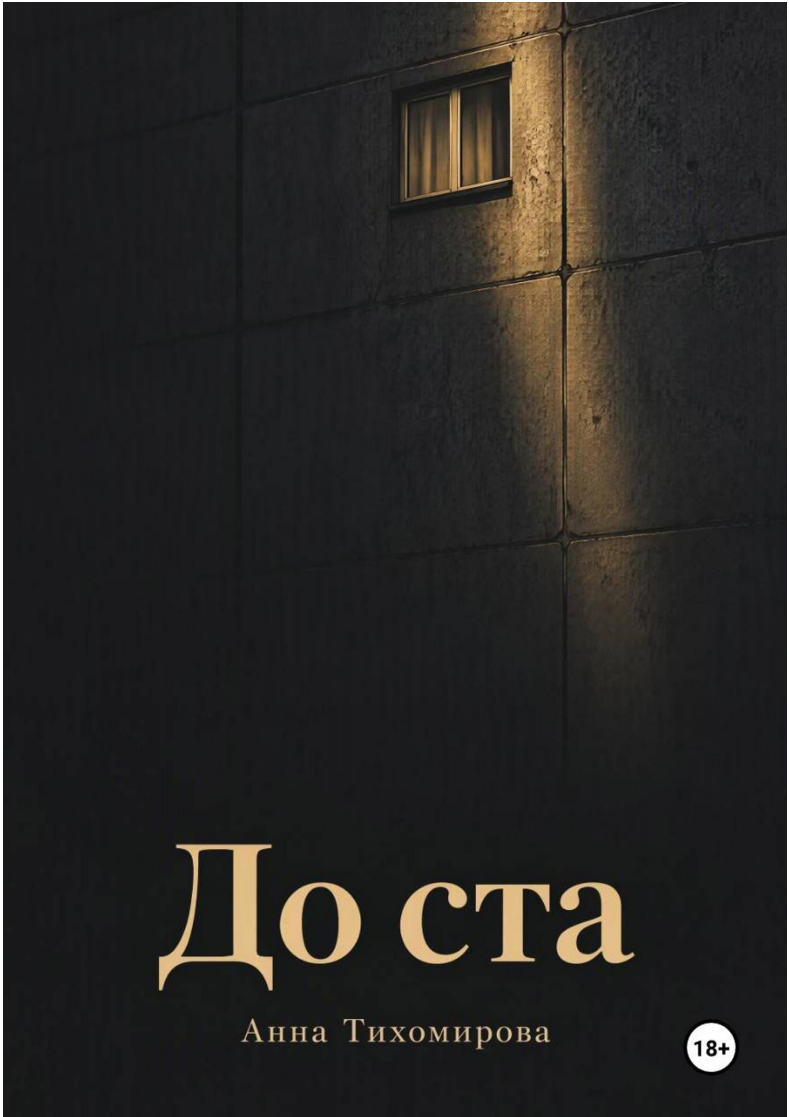
До ста
Анна Тихомирова
18+

Анна Тихомирова
До ста

https://litres.ru/74880397
SelfPub; 2026

Аннотация

Основано на реальных событиях.

Вере было семь, когда она научилась считать до ста. Досчитаешь — и крик за стеной кончится.

В сорок у неё панельная однушка на девятом этаже, двое сыновей, полторы ставки в школе и семнадцать лет брака за спиной. Она ушла от мужа с двумя пакетами и твёрдым намерением больше ни от кого не зависеть — и почти поверила, что этого достаточно.

А потом на футбольном поле, где играют их сыновья, появился Артемий: разведённый, усталый, умеющий молчать, варить солянку и никуда не торопиться. Он не спасает её — он просто спрашивает: «Ты зачем со мной?»

Психологическая драма о том, как в сорок лет заново учатся говорить «я хочу» вместо «надо», доверять после семнадцати лет недоверия и жить, не считая до ста.

Содержание

Глава 1. Шаги 4
Глава 2. Поле 11
Глава 3. Ветровка 17
Конец ознакомительного фрагмента. 22

Анна Тихомирова
До ста

Глава 1. Шаги

Тем, кто вырос в доме, где считают до ста. И тем, кто научил их считать по-другому.

«Ребёнок учится тому,
Что видит у себя в дому:
Родители — пример ему».
Себастьян Брант

Ночью в моей квартире слышны шаги. Дом панельный, слышимость отличная. Я по звуку узнаю всех: сосед, который живет этажом выше, идёт тяжело и на площадке делает паузу; курьер бежит через две ступеньки; старший сын возвращается поздно и всегда задевает плечом перила. Я лежу, слушаю и не встаю.

Прислушиваться к шагам приходилось часто. Мы жили в посёлке, в доме на две семьи. Вечером, когда за окнами уже стояла темнота, я различала отца задолго до того, как он брался за ручку двери. Сначала хлопала калитка, потом на утоптанной дорожке хрустел гравий. Шаги были ровными

или сбивчивыми, с запинками.

Дальше он поднимался на крыльцо, и ступени скрипели под его весом, каждая на свой лад. В сенях половицы прогибались с глухим стоном, и по одному звуку я уже всё понимала. Идёт ровно, тяжело, без остановок — можно выдохнуть, поверить, что сегодня всё обойдётся. А если он спотыкался на крыльце, долго шарил руками по косяку, не попадая ключом в замок, я уходила в комнату, ложилась и старалась не шевелиться.

Мне было семь лет, и слова «алкоголик» я тогда ещё не знала. Зато отлично понимала другое слово: «сегодня». Каждое утро оно повисало в воздухе, и до самого вечера было непонятно, как это «сегодня» обернётся — тишиной или бедой.

Отца звали Николаем Степановичем. Он работал на заводе фрезеровщиком, в цехе, где круглый год пахло раскалённым металлом и машинным маслом. Завод был в городе, добираться приходилось на рабочем автобусе, который уходил с остановки в шесть утра и привозил всех обратно затемно. Я помню, как пахли его руки: даже после мыла под ногтями оставалась чёрная каёмка, а от одежды ещё долго тянуло железной пылью. Роста он был невысокого, но коренастый, плотный, с широкими плечами и тяжёлыми ладонями, которых я боялась больше всего на свете. Лицо обветренное, с глубокими складками у рта, а глаза светло-серые, и смотрели они всегда куда-то мимо, будто он не видел ни меня, ни

маму, ни эту комнату. Прямо он смотрел редко, только когда злился, и тогда взгляд упирался в собеседника, как гвоздь. Мама говорила, что в молодости он был красивым, но я этого не застала. Его молодость осталась где-то в детдоме, за высоким забором, о котором он никогда не рассказывал.

Мама была совсем другой, но такой же усталой. Её звали Викторией Павловной, она работала на почте — в маленьком кирпичном здании в центре посёлка, где пахло сургучом, пыльными газетами и клеем. Она принимала переводы, выдавала пенсии, раскладывала письма по деревянным ячейкам. И делала это так же молча, как жила. Домой возвращалась к вечеру — в пальто с потёртыми рукавами, с тяжёлой сумкой, в которой носила хлеб и что-нибудь к ужину. Я помню её руки: маленькие, со вздувшимися венами и вечно обветренными пальцами. Помню, как она снимала у порога туфли и распрямлялась, упираясь ладонью в поясницу. Она была невысокой и худой, со светлыми волосами, которые рано начали седеть. Лицо у неё было тихое, преждевременно состаренное. Но иногда, в хороший вечер, в нём вдруг проступала какая-то девичья мягкость. И тогда я понимала, что она тоже была когда-то молодой и, наверное, другой. Говорила она мало, почти шёпотом, и улыбалась редко — одними губами, не глазами. Меня она любила, я знала это без слов: по тому, как ставила передо мной тарелку и отдавала лучший кусок; по тому, как ночью, думая, что я сплю, поправляла на мне одеяло. Просто у неё не было сил показы-

вать эту любовь громче.

Костя, мой брат, был старше меня на два года, и его били больше. Он переживал это иначе: не прятался, а уходил. Надевал куртку и исчезал до позднего вечера, когда всё уже было кончено. Я не могла так уйти, я умела сидеть тихо. Мне доставалось меньше, ему — больше, и это навсегда осталось между нами. Теперь он живёт в городе, женат, у него есть дочь и своя квартира. О детстве мы с ним не говорим и практически не общаемся.

Наш дом стоял на краю посёлка, последний от остановки. Кирпичный, приземистый, на две половины: в одной жили мы, во второй — соседи, семья с двумя девочками. У каждой семьи был свой вход, своё крыльцо и свой кусок огорода за домом. Наш двор отделял от дороги покосившийся штакетник. Вдоль него росла старая вишня, которая каждую весну осыпала землю белым цветом, а осенью роняла на грядки тёмные ягоды.

Внутри наша половина была тесной и тёмной. Сразу от двери шли узкие сени, с земляным холодом в углах, с полками, заставленными банками и старыми коробками. Оттуда попадаешь в кухню, а дальше начинается длинный коридор, по сторонам которого располагались две комнаты. В первой спали родители, во второй — я, на раскладном диване, скрипевшем от каждого движения. Стены были оклеены жёлтыми обоями в мелкий цветочек, местами отставшими по углам. А потолок в кухне пожелтел от пара и сигаретного ды-

ма. Над плитой висела полка с кастрюлями, у окна стоял стол под клеёнкой, протёртой до белых нитей. За окном — двор, качели на старой покрышке и соседский забор, за которым по вечерам лаяла собака.

В доме пахло щами, сигаретами и зимой: мокрыми сапогами, сохнущими у порога, сырыми варежками на батарее. Зимой темнело рано, и фонарь на столбе напротив раскачивался на ветру, бросая на потолок длинные жёлтые полосы. Мама по вечерам почти всегда что-то варила. Уставшая, в стареньком переднике, она стояла над плитой и смотрела в стену, а пар от кастрюли поднимался к её лицу и оседал на щеках. Я долго думала, что она видит в этой стене что-то своё, мне недоступное. Потом поняла: она не смотрела никуда. Так ей было легче. И я потом сама научилась так же — глядеть в одну точку и не видеть ничего.

Их ссоры начинались почти каждый вечер. Я уходила в комнату и садилась на пол между кроватью и стеной. Там было узко и пыльно, приходилось прижиматься спиной к холодной стене. Сначала это были просто голоса: мама что-то тихо выговаривала, отец отвечал сквозь зубы, и оба говорили всё короче и злее. Потом они переходили на крик, и уже нельзя было разобрать, кто прав, а кто виноват. Только два голоса, которые бились друг о друга, как о стены. Иногда что-то падало и катилось по полу, хлопала дверца шкафа, мама вскрикивала — коротко, будто нечаянно, будто наступила на что-то острое. Я сидела, прижавшись к стене, и считала:

один, два, три... до ста, потом начинала заново. Не знаю, помогало ли это на самом деле. Просто в те минуты я ничего другого сделать не могла.

Про отца меня спрашивали все: подруги, психолог, однажды даже он сам. Все думали, что я его ненавидела. Нет. Я боялась. Это совершенно разные вещи, хотя со стороны их трудно отличить.

Он вырос в детдоме, о чём я узнала случайно, лет в двенадцать, подслушав чужой разговор, не предназначенный для моих ушей. Детдом в пятидесятых — это не то место, где гладят по голове. Там учили не плакать, не просить и не ждать от людей ничего хорошего. Он усвоил эти уроки намертво, до самых костей, а потом передал их мне — не специально, просто другого языка у него не было.

Я не оправдываю его. Я пытаюсь понять. Это тоже разные вещи, и мне потребовалось много лет, чтобы наконец поверить в эту разницу самой.

Первое стихотворение я написала в восемь лет. В клетчатой тетради, на последней странице, где заканчивались задачи по арифметике. Слов уже не помню. Кажется, что-то про снег за окном и про то, что никто не замечает этой красоты. Написала, перечитала, а потом вырвала страницу и выбросила в мусорное ведро. Мне казалось, что если кто-нибудь найдёт, мне будет невыносимо стыдно. За что именно — я не понимала, но это чувство жило во мне постоянно. Всё моё почему-то было стыдным.

Так я и жила: считала до ста, писала и выбрасывала, слушала шаги на крыльце.

Глава 2. Поле

Я часто приходила на футбольное поле.

Оно было за школой, за гаражами, где кончался посёлок. Земля там была вытоптанная: летом пыльная, осенью липкая. По краям росли кусты, дальше шёл старый забор, а за ним громыхали поезда. Когда шёл товарняк, земля дрожала под ногами.

Мне было одиннадцать. После уроков я домой не спешила. Дома меня ждали вечера, полные тревоги, и я их ненавидела. Поэтому я ходила в библиотеку, долго гуляла по улицам, стояла у витрины магазина, разглядывая, что продаётся. А самым любимым местом было поле.

Там всегда кто-то играл. Мальчишки гоняли мяч, девчонки прыгали через резинку. Лучше всех умела прыгать Люба Ковалёва. Маленькая, стриженая под мальчика, вечно в чужой футболке на два размера больше, с расцарапанными коленями и сбитыми костяшками. Иногда мы играли в догоняшки. Люба бегала почти так же быстро, как я, а иногда и обгоняла. И это меня злило сильнее, чем я готова была признать.

Мы с ней садились на бревно у забора, пока ребята пили воду из одной на всех бутылки. Она рассказывала, как у них дома второй месяц чинят крышу: отец снимает лист, смотрит

на него и ставит обратно. Мы не дружили так, как дружат девочки — секретов не делили, в гости не ходили. Просто на поле всегда оказывалось, что мы стоим рядом, и молчать вдвоём было легче, чем молчать одной.

Когда я уехала, мы сначала писали друг другу — длинно, по четыре страницы, почерком, который к третьей странице разъезжался. Потом стали звонить по праздникам. Потом просто знали друг про друга: что она вышла замуж сразу после школы, родила двоих, работает в аптеке на площади и что в посёлке с тех пор не поменялось ничего, кроме вывесок. Я всё собиралась приехать: давала себе обещание выбраться на день-два, посмотреть на неё и на её мальчишек.

А однажды на поле пришли двое взрослых, которых я раньше не видела.

На поле стояли высокая женщина в спортивном костюме и невысокий мужчина с секундомером на шее. Они построили ребят и раздали деревянные биты. Игра называлась лапта. Я про неё почти ничего не знала.

Я стояла у кустов и смотрела. Женщина заметила меня и махнула рукой. Я подошла медленно, стараясь держаться подальше от всех.

— Ты чья? — спросила она.

— Из восьмого дома, — ответила я.

— Будешь играть?

Я не хотела играть. Но и уходить не хотелось. На поле было хорошо, светло, и никто не спрашивал лишнего. Я взяла

биту.

В тот первый раз я, конечно, ничего не умела. Биту держала неловко, отбить мяч не могла. А когда побежала не вовремя, Галина Ивановна коротко, без злости, остановила меня. Я смутилась, отошла в сторону и решила, что больше не приду. Но когда тренировка закончилась, Галина Ивановна сама подошла ко мне и сказала просто:

— Приходи завтра. У тебя ноги быстрые.

Я не ответила. Просто пожала плечами и ушла. А на следующий день после уроков поймала себя на мысли, что ноги сами несут меня за гаражи.

Так я и стала ходить на тренировки. Мне дали биту, потом доверили мяч. И в какой-то момент я перестала бояться, что сделаю что-то не так. На поле за ошибки не ругали, а просто показывали, как правильно.

Через месяц я уже не могла представить себе вечер без игры.

Ребят там было много, самых разных. Старшие учили младших, младшие носили мячи и биты. И никто не смотрел на тебя косо, если ты поначалу ничего не умел. Я знакомилась с ними не сразу, всё как-то по-своему, постепенно. Но на поле это было не страшно. Там не спрашивали про дом и не замечали, если ты долго молчишь.

Моими тренерами были муж и жена. Своих детей у них не было, и они вели секцию по лапте при школе. Жили через две улицы от нас. В сенях их дома стояли вёдра с мячами, на

стенах висели биты, и пахло там свежей извёсткой и сушёной травой.

Примерно через месяц я впервые осталась после тренировки помогать собирать инвентарь. Галина Ивановна ушла провожать младших, а Пётр Семёнович складывал биты в мешок. Я стояла рядом, не зная, куда деть руки. Он попросил меня подержать мешок, и за этим нехитрым делом мы разговорились. Не о доме и не обо мне — просто о погоде, о том, что поле скоро накроют дожди и придётся перебираться в спортзал.

Я набралась смелости и спросила, давно ли они тренируют ребят. Он усмехнулся, подумал и сказал: «В два раза дольше, чем ты живёшь». Я не поверила, и тогда он начал перечислять фамилии. Кто-то из них уехал в область и теперь играет за сборную, кто-то тренирует детей в соседнем районе. А двое, по его словам, «на чемпионат ездили, медали в ящике валяются». Сказал он это без хвастовства, как про обычное дело, и от этого было ещё удивительнее.

На следующий день я переспросила у старших ребят, и они подтвердили, добавив подробностей, о которых Пётр Семёнович умолчал. Оказалось, наши тренеры воспитали не одно поколение игроков, к ним приезжали из других посёлков, их знали и уважали. А сами они про это почти никогда не говорили. Мне отчего-то стало неловко за своё незнание, как будто я пришла в чужой дом и не заметила, что он построен этими людьми.

После того разговора я стала смотреть на Галину Ивановну и Петра Семёновича иначе. Раньше они были для меня просто тренерами — громкая женщина с секундомером и молчаливый мужчина с мешком бит. А теперь я видела за этим целую жизнь.

Я замечала, как Галина Ивановна, уставшая после долгой тренировки, всё равно оставалась с теми, у кого не получалось. Заставляла повторять удар двадцать раз и не отпускала, пока не выходило. А потом первой замечала, что кто-то пришёл голодный, и молча совала ему в карман яблоко.

Пётр Семёнович перед игрой тихо обходил каждого и по очереди что-то говорил — кому-то про ноги, кому-то просто «соберись». Он запоминал, у кого что болит и кто чего боится, и оказывался рядом ровно в ту минуту, когда был нужен. Но никогда не лез в душу.

Я и сама не заметила, в какой момент перестала стесняться подходить к ним с вопросами. И стала ловить себя на том, что на тренировку иду не только ради игры.

Больше всего мне нравилось бегать.

В лапте главное — вовремя побежать. Дождаться удара, увидеть, как мяч взлетает, и сорваться с места. Бежать до линии и обратно, не оглядываясь. Я бегала быстро, и это у меня получалось.

Когда я бежала, все мысли отступали. Дома я постоянно слушала, что происходит за стеной: кто как хлопнул дверью, кто каким голосом сказал. А на поле этого не было. Там были

только ветер в ушах, земля под ногами и мяч, который надо обогнать. И это «ничего» было таким легким.

В первый раз, когда я принесла очки в игре и Галина Ивановна крикнула «горячая!», мне стало хорошо. Я не поняла почему. Просто дышать стало легче.

Домой я шла медленно, в кармане держала камешек, который подобрала на поле. Дома ещё ничего не началось, но уже чувствовалось напряжение. Я прошла в свою комнату, легла и зажала этот камешек в кулаке.

Я не слушала, что происходит за стеной. Я думала про лапту. Про то, как завтра снова пойду туда, снова возьму биту, снова побегу.

Это была простая мысль, но она оказалась сильнее страха. Тогда я этого ещё не понимала. Просто впервые в жизни у меня появилось место, куда хотелось идти. И этим местом был не дом.

Так я нашла этих людей. Тогда я ещё не знала, какую роль они сыграют в моей жизни. Не догадывалась, что Галина Ивановна однажды поедет со мной в областной центр поступать в институт, потому что родителям будет не до этого. Не знала, что эти двое дадут мне то, чего у меня никогда не было. Я просто ходила на поле, и мне там было хорошо.

Глава 3. Ветровка

Случилось это на соревнованиях.

Осень тогда выдалась сухая, и районный турнир по лапте назначили на последний тёплый день. Мы приехали в соседний посёлок на стареньком автобусе. Всё утро я не могла понять, что со мной не так: живот тянуло, ныла спина. И казалось, что вокруг смотрят только на меня, хотя на самом деле все смотрели на поле, где уже шла разминка.

Я отыграла первый тайм. Бегала, била, ловила мяч, но всё время держала спину так, будто за мной кто-то стоит. В перерыве я пошла в раздевалку и увидела, что белые шорты испачканы. Совсем немного, с внутренней стороны, но мне хватило.

Я села на скамейку, прижала к животу сумку и поняла, что не выйду отсюда ни за что.

За дверью кричали, звали, кто-то стучал. Голоса то приближались, то удалялись, и в промежутках было слышно, как в дальнем конце коридора капает вода из крана. Я сидела и не отвечала. Мне казалось, что если я выйду, то все сразу поймут, что со мной. И будут смеяться. А потом расскажут дома. И родители узнают. И тогда случится что-то такое, после чего я больше не смогу жить на свете. Я не понимала, что именно, но страх был огромный, как вся эта раздевалка

с её эхом и чужими голосами.

Я сидела так долго, что перестала различать, сколько прошло времени — минуты или часы. Руки у меня замёрзли, хотя в раздевалке было душно. Где-то за стеной снова закричали: «Горячая!» — второй тайм начался без меня.

Потом стало тихо. И в этой тишине я услышала шаги. Неторопливые, ровные, спокойные, будто человек шёл не за мной, а просто по своим делам. Шаги прекратились у двери, и я вся сжалась так же, как сжималась дома, когда гравий на дорожке за окном начинал хрустеть.

Щёлкнула ручка. Я вжалась в скамейку и закрыла глаза.

Как бы я ни надеялась, что меня оставят в покое, Галина Ивановна вошла без стука, аккуратно прикрыв за собой дверь.

— Так, — сказала она тихо. Я услышала, как скрипнула скамейка, когда она села рядом. — Ну, как ты?

Она забрала у меня сумку, которую я всё ещё прижимала к себе, и, наверное, заметила испачканные шорты. Галина Ивановна сняла свою ветровку и протянула мне. Я взяла её, потому что не знала, что ещё делать. Ветровка была тяжёлая, тёплая, пахла полынью и чем-то ещё, похожим на её духи.

— Это случается, — сказала она. — У каждой. У меня тоже. Ничего страшного.

Я молчала. В горле стоял ком, и я боялась, что если открою рот, то расплачусь.

— Ты испугалась, — продолжала она. — Это нормально.

Когда это в первый раз, всегда кажется, что ты одна такая на всём белом свете.

Я всё-таки заплакала. Тихо, сжав зубы, но она заметила. Положила руку мне на плечо и не убирала, пока я не перестала вздрагивать. Ладонь у неё была тёплая и сухая, и мне стало немного легче.

— Никто ничего не узнает, — сказала она. — Сейчас приведёшь себя в порядок, наденешь мою ветровку. Скажешь, что озябла. Никто и не посмотрит.

Я кивнула, хотя не поверила. Но когда я вышла из раздевалки в её ветровке — она была мне до колен — и вернулась к команде, на меня действительно никто не посмотрел. Пётр Семёнович только махнул рукой, мол, вставай с командой. И всё.

Я просидела на скамейке запасных до конца игры. Держала руки в карманах чужой ветровки и смотрела, как наши проигрывают, потому что без меня на второй линии некому было бегать. Девочки вышли с поля злые, кто-то плакал. Мне было грустно и стыдно — не за то, что со мной случилось, а за то, что я не смогла им помочь. Тогда я ещё не умела различать эти два чувства, и оба лежали на мне одинаково тяжело.

После игры Галина Ивановна подошла ко мне, когда мы грузили сумки в автобус.

— Тебе надо с кем-то поговорить, — сказала она, глядя не на меня, а на поле, которое уже накрывали сумерки. —

Не обязательно со мной. Но не держи всё в себе.

Я стояла и ковыряла носком землю.

— Я не знаю, как это объяснить, — растерянно произнесла я.

— А ты не объясняй. Просто начни. Скажи одно слово. Что ты сейчас чувствуешь?

— Стыдно, — выговорила я и удивилась, что это слово вышло так легко, будто оно всё это время ждало, когда я его произнесу.

Галина Ивановна кивнула.

— Это пройдёт. Не за один день. Но пройдёт, если ты не будешь запирать это внутри, как зверя в клетке.

Она стояла рядом со мной. И я не чувствовала себя неловко. Может, потому что темнело, и нас почти не было видно.

— У тебя дома кто-нибудь с тобой об этом говорил? — спросила она.

Я покачала головой.

— Ну вот, — сказала она. — Значит, тебе вдвойне тяжелее. Ты всё узнаёшь одна, и тебе кажется, что ты делаешь что-то запретное.

Я не ответила, но внутри у меня всё сжалось. Это было именно то, в чём я боялась признаться самой себе.

— Твоё тело принадлежит только тебе, Вера, — сказала она. — То, что с ним происходит, — это не стыдно.

Я запомнила эти слова на всю жизнь, не поверив в них сразу — на это понадобились годы. Но они остались во мне,

как тот самый камешек, который я когда-то подобрала на поле: маленький, тёплый, и его можно было сжимать в кулаке, когда становилось совсем плохо.

В автобусе мы ехали последними. Тренер усадила меня у окна и села рядом, заслонив от остальных плечом. Девочки за спиной играли в города и хохотали так, что дребезжало стекло. Никто не оборачивался. Я смотрела в тёмное окно, где вместо улиц плыли одни фонари, и прятала руки в карманах чужой ветровки.

Я так и приехала домой в этой ветровке. И потом долго не решалась её вернуть. Потому что вернуть — значило признать, что тот день закончился. А я хотела сохранить хоть что-то хорошее и тёплое от него. А шорты в ту же ночь пришлось застирывать в холодной воде, пока родители спали.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.